





Александр Александрович

ФАДЕЕВ

(1901-1956)

РУССКАЯ КЛАССИКА

Александр
ФАДЕЕВ

Разреш

Москва



2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ф15

Дизайн серии *Е. Соколовой*

Оформление переплета *Н. Ярусовой*

В оформлении переплета использованы фрагменты работ
художника *Николая Самокиша*

Фотография на фронтисписе: *Г. Вайль* / РИА Новости

Фадеев, Александр Александрович.

Ф15 Разгром / Александр Фадеев. — Москва : Эксмо, 2016. —
640 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-699-91966-6

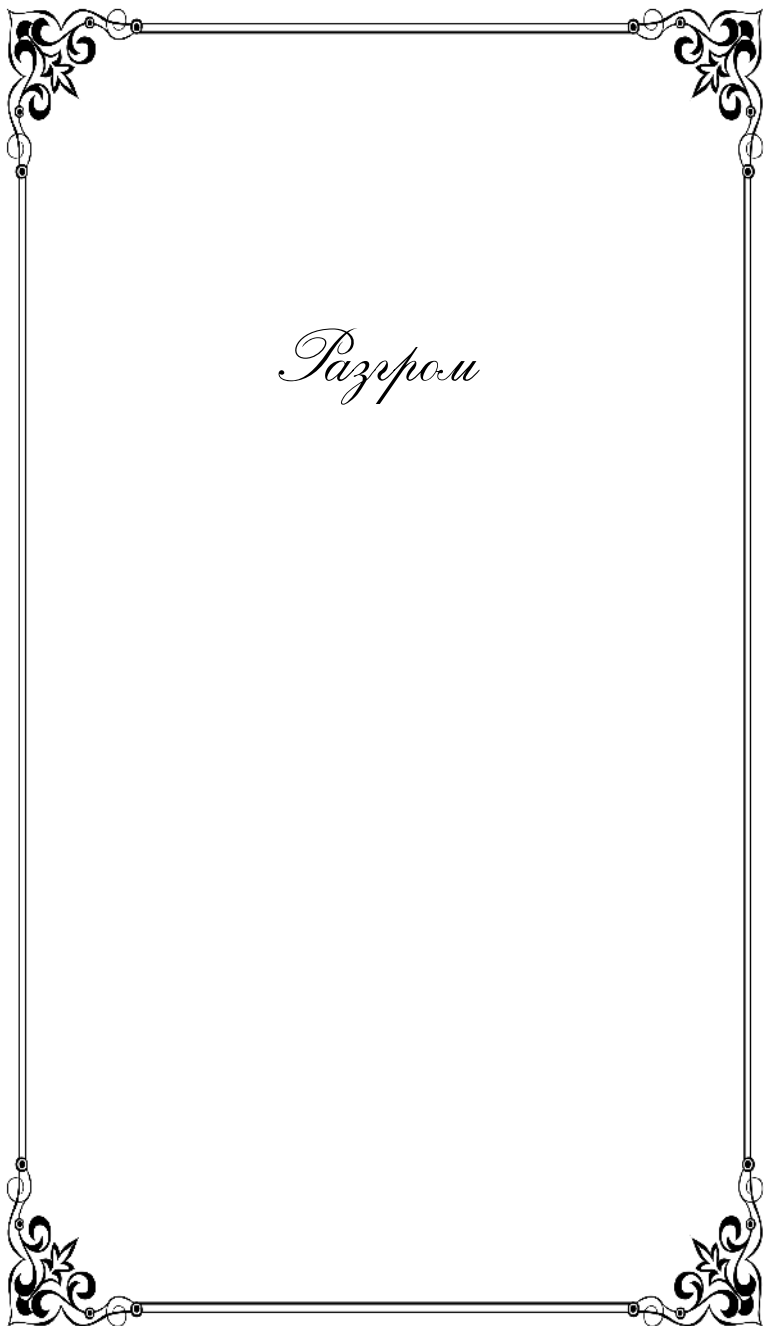
Два романа, отражающие разные этапы творческого пути Александра Фадеева: широко известный «Разгром» и последний, незаконченный роман «Последний из Удэге», над которым писатель работал почти тридцать лет, — посвящены истории борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке и гражданской войне на Дальнем Востоке. Даже тема общая, а между романами — целая жизнь...

Работу над «Последним из Удэге» Александр Фадеев не прекращал до последних дней своей жизни...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-91966-6

© Фадеев А. А., наследники, 2016
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2016



Разрешу



І. МОРОЗКА

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

— Свезешь в отряд Шалдыбы, — сказал Левинсон, протягивая пакет. — На словах передай... впрочем, не надо — там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неизвестно.

«Жулик», — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

— Чего же ты стоишь? — рассердился Левинсон.

— Да что, товарищ командир, как куда ехать, сейчас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет..

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальной: обычно называл просто по фамилии.

— Может быть, мне самому съездить, а? — спросил Левинсон едко.

— Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

— Иди сдай оружие начхозу, — сказал он с убийственным спокойствием, — и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неумолимые кузнечики.

— Обожди, — сказал Морозка угрюмо. — Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил:

— Уйти из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче. — Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом закончил: — Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашницу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

— То-то и есть, — засмеялся командир, — а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

— Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене, — скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

— Тимоша! — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце. — Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.

— Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

— Вольно, — снисходительно сказал Гончаренко, — сам таким дураком был. По какому делу посылают?

— А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

— Дурак... — пробурчал подрывник, откусывая дратву, — трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настоженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.

— Мишка-а... у-у... Сатана-а... — любовно ворчал Морозка, затыгивая подпругу. — Мишка... у-у... божья скотинка...

— Ежли прикинуть, кто из вас умнее, — серьезно сказал подрыльник, — так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сильный гудок звал на работу утреннюю смену.

— Сын?.. — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

— Значит, четвертый... — подытожил отец покорно. — Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.

В ста саженьях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми, туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошено затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь действительно была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.

— В-з-з... в-з-з... — жарко пели неугомонные пауты.

Станный, лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним — другой, третий... Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

— Обожди, — сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья. Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

— Слышишь?.. Стреляют!.. — выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец. — Стреляют!.. Да?..

— Та-та-та... — залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло-четкий плач японских карабинов.

— В карьер!.. — закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремяна, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопаящий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

— Обожди здесь, — сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла: Мишка — верный раб — не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

— Сволочи, что делают, что только делают!.. — все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит — несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

— Сволочи, и что только делают! — снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

— Мишка, сюда!.. — крикнул он вдруг не своим голосом.

Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно зыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

— Ложись!.. — крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.

— Ложись... — хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

— Больно, ой... бо-больно!.. — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

— Молчи, зануда!.. — прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма — к деревушке, где стоял отряд Левинсона.

II. МЕЧИК

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, ничемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

— Желторотый... — насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца. — Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

— Известно, сопливый... — бурчал он недовольным голосом.

— Не трепись, — перебил Левинсон сурово. — Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими, бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слышал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое

ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло свежим и крепким, как бы настоящим на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытие.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнувшийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика, — что исходило от этой спокойной фигуры — от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук, — было чувство какой-то беспцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

— Где я? — тихо спросил Мечик.

Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.

— Сойдет... — сказал он спокойно. — Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко... — Помолчал немного и неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

— Вот и хорошо, — сказал высокий мужчина, кончая перевязку. — Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский. — Он несколько оживился, быстрее зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди сутились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись

на посошок, добродушно глядел на все светлородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над баракком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик, — в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые — в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской фуражке.

— Да вот... послан из города...

— Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

— «...При... морской... о-бластной комитет... социалистов... ре-лю-ци-не-ров...» — читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. — Та-ак... — протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

— Как же ты, паскуда...

— Что? Что?.. — растерялся Мечик. — Да ведь это же — «максималистов»... Прочтите, товарищ!

— Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигаящими до пяток.

— Они не разобрали... — говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. — Ведь там же написано — «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

— А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе устался на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

— Дурак... — сказал сурово. — Не видишь: «максималистов»...

— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик обрадованно. — Ведь я же говорил — максималистов! Ведь это же совсем другое...

— Выходит, зря били... — разочарованно сказал матрос. — Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди несколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых — двое: сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном берегу, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне — бывшем красногвардейце.

— Да-а... Приходит это он до меня. Я, конечно, сижу на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались — дело понятное.